

● УМИРАЛ ЯМЩИК...

РАССКАЗ

Сколько ни поют эту песню, а трогает, тревожит она душу русскую, будит тайные печали, и слезы катятся, и жаль становится обиженных, забытых, несчастных...

Впервые от песни этой Валентин Пенегин заплакал, когда был восьмилетним мальчиком. Той патефонной пластинки давно уж нет, и кто пел, он до сих пор не знает, но голос и что было в голосе запало в душу.

Пластинку ставили на патефон, который завезли в глухую сибирскую деревеньку люди, согнанные войною с родных мест — эвакуированные. Оказалось их в деревеньке несколько семей. Одна семья жила у стариков Пенегиных, которым Валька приходился родным внуком. А когда фашистов погнали и приезжие стали возвращаться домой, уехала и та семья, что стояла в Валькином доме, и оставила Пенегиным в подарок патефон. Отличная машинка — патефон,

да хороших пластинок к нему почти не осталось. Одни заиграны были донельзя, другие поколоты.

Вальку одолевала тогда тоска. Уехали не только взрослые, полюбившиеся ему люди, но и дружки его, в том числе бледная остролицая девочка, из-за которой (теперь в этом можно признаться) у Вальки болело сердечко.

Потом случилось и вовсе страшное. Валькин отец, возвращаясь домой по ранению, не дошел до своей деревни — в дороге умер. Почерневшая от горя мать и старенький дедушка ездили куда-то хоронить отца и не возвращались долго-долго. Валька оставался с бабушкой, которая слегла было, потом кое-как, с помощью Вальки и соседских ребятишек, стала управляться по дому. Она все плакала и гладила белесую Валькину головенку... Она-то и разрешила ему однажды самостоятельно «поиграть» на патефоне.

Вальке в ту зиму не в чем было бегать по улице, по буранам и морозам. Вот он и сидел в горнице, мастерил свои ребячьи поделки и крутил патефон. Как-то пришла Валькина тетка — доярка. Раньше у нее тоже был патефон: колхоз премию давал. Потом патефон сломался, внутренности из него вынули, а футляр приспособили, как сундучок, под всякую мелочь. Но пластинок сколько-то осталось, и, значит, что же — надо их Вальке отдать. Вот и прибавилось у него еще несколько пластинок. В том числе и эта — про ямщика...

Сначала песня его никак не тронула. Он ее и раньше слышал в деревне. И еще как раз соседские ребятишки в горнице собрались — не столько слушали, сколько спорили, шумели. Но потом, когда Валька остался один и когда было ему тоскливо-тоскливо, пластинка эта довела его до слез. Валька сидел на бабушкином сундуке, поджав босые ноги и закрывая их подолом длинной рубахи, а рядом, на табуретке, пел патефон. Голос был мужской — широкий и тягучий, как большая река.

Песня о ямщике начиналась исподволь, мягко и тихо, и все приближалась, наплывала, разрасталась. Казалось, где-то далеко-далеко начинал дрожать, заниматься таинственный свет, который потихоньку все шире охватывал ночную степь, поднимался ввысь, а потом так же полого снижался, отходил, замирал и, все уменьшаясь, уносился в жуткую даль костерком, малой свечечкой, искоркой, и наконец исчезал вовсе. От всего этого было смертельно тоскливо и скорбно, а вместе с тем жутко красиво. Сам голос затухал и утон-

чался, как затухала и обрывалась тоненькой ниточкой непонятно скоротечная жизнь человеческая — ямщика того. Вот на этом-то затухании, на этом острей уходящего голоса, казалось, и скапливалась вся тоска и безысходное одиночество. У Вальки на затылке даже волоски поднимались...

Хлопали ставни, завывал буран, сгущались сумерки, а из ящика на табуретке все звучала эта страшная и красивая песня. И виделся Вальке не ямщик в тулупе, а отец — тоже в тулупе и в заячьей шапке. Таким он запомнился в прощальный день, когда уходил на войну, — веселый, в кошевке и с гармошкой. Их было трое в той кошевке. Как крикнули, да как понеслись! «Грудь в крестах или голова в кустах!..» Таким вот и маячил то ли песенный ямщик, то ли родной отец где-то на краю большой степи, а мимо, как белые тощие волки, неслись и неслись косматые летучие снега и плакала вьюга... И Валька тихонько плакал.

Песню эту, как и другие, записанные на пластинках, Валька выучил наизусть, слово в слово, и нашел, что деревенские пели куплета на два, на три короче, и кое-какие слова не такие были, как на пластинке. В деревне пели: «замерзал ямщик». А на пластинке: «умирал». И вот что поразило Вальку, когда он стал сравнивать эти слова. Как это люди не поймут, что ямщик не мог замерзнуть на глазах у своего товарища. Не мог замерзнуть! Ведь при нем был товарищ — живой и здоровый. И в тулупе, как все ямщики. И лошадушки у них были справные, ямщицкие. С чего бы вдруг замерзнуть-то? Да коснись Вальки, он последнее дырявое пальтишко отдал бы, чтоб спасти товарища. На закорки посадил бы его и понес. А тут и тулупы у обоих, и лошади. И вот — нате вам — замерзал!.. Да не бывает так у людей, у товарищей — тем более. «Умирал», как на пластинке, — это другое дело. Тут все правильно. Умирал отчего-то человек, в степи, в дороге. Может, и погода стояла хорошая, и тулупы теплые, и пимы, и поесть было чего, и лошади сытые, но вот беда настигла: почувал человек, что умирает. Мало ли что случается в дороге. Может, и жизнь-то у него не очень путевая была. Может чувствовал себя виноватым перед кем-то, а может, люди перед ним шибко провинились, всяко бывает. Потому и просил он схоронить его на особицу, вот здесь, в глухой степи, по которой привык ездить и столько всяких дум тут передумал. Может, степь-то ему глянулась больше всего на свете...

Валька представлял его одинокою могилку среди степи

глухой, неоглядной, над которой только вьюга плачется да волки рыскают и нет ни одной родной души поблизости, — и сердце у него замирало, сжималось в комочек... А весной снега растают. Степь делается приветной, покроется зеленой травой и всякими цветами, и жаворонки зазвенят над ней, и солнце будет радость лить, а он — один-одинешенек, здесь, вдали от людей, захороненный...

...С тех пор прошло больше тридцати лет. Много раз Валентин Пенегин бывал на разных концертах. Много хороших песен слышал и давно уж относился к настоящим песням, как к самой красивой правде о душе человеческой. Но эта про ямщика, особо, все с той же, прежней силой тревожила душу.

Работал Валентин в комбинате бытового обслуживания — с тех пор, как получил специальность настройщика музыкальных инструментов. Лишнего не пил, зарабатывал неплохо. Имел жену, двоих детей. Дома все было, что по нынешним временам требуется. И лад в семье был. Правда, жена не сразу свыклась с его характером. Что думает Валентин, то и говорит, невзирая ни на что. Нет, он не оскорбляет никого, не скандалит... Просто уточнять любит, чтоб все было без фальши. Когда еще в колхозе жили, про него так и говорили: а, это тот, который «Я хоть не член правления, а думаю правильно!..» Все на собраниях «уточнял». В городе, в бытовом комбинате, попервости, тоже прослыл неудобным человеком. Зато специалист хороший — пятилетку за четыре года!

В концертах Валентину больше нравилось хоровое пение. О, хор — это великая сила, великая власть над душой человеческой. В хоре каждый не просто свой звук прибавляет, но и поднимает, вдохновляет других. В хоре каждый может сделать больше, чем по отдельности. Да еще столько голосов вместе — такая красота и такая силища! Именно эта красивая силища на деревенских праздниках сводила, бывало, воедино и друзей и врагов, и плохих людей и хороших. И все на какое-то время становились добрей, чище. И в церквях не зря хоры когда-то держали. И революционные песни прежде всего на хоровое, на всеобщее пение рассчитаны. Много сделали для народа такие песни!..

Как-то Пенегин послал в газету статейку под заглавием: «Черные коты на сцене». Он имел в виду как раз эту известную тогда песенку про черного кота, да еще то, что выступали больше отдельные солисты с красивыми фами-

лиями, но с маленькими голосами. Приедет такой «соловей», микрофонов навтыкает по сцене, еще и в рот микрофон, как соску, возьмет и давай метаться по сцене, ногами дрыгать. Он, наверно, думает, что приехал к дикарям, каких сейчас же всех наповал сразит своим искусством. А отними у него соску эту, микрофон то есть, да перестань играть оркестр, пшик только и останется от него. Разве ж могут одарить чем-то хорошим эти дрыгоножки? Разве может такое «искусство» объединять людей и пробуждать в них добрые и благородные чувства? «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!..» А какие же тут порывы? Черные коты — они и есть черные коты...

Было спору у Пенегина из-за этой статейки! Человек он настойчивый. И в редакцию ходил, и в филармонию, и в отдел культуры. И везде ему, как сговорившись, объясняли, что искусство должно быть разнообразным и разножанровым.

— И хорошим! — перебивал Пенегин. — Понимаете — хорошим! Полезным!

— Но вы же не композитор, не искусствовед, не музыкальный критик, — говорили ему. — Это же серьезная тема. Если хотите по-серьезному, то давайте пишите объективно и доказательно про эти, как вы говорите, «кошачьи концерты». Докажите сначала. А вы сразу взялись обобщать.

— А могу я как рядовой слушатель свое мнение высказать или не могу?

— Конечно, можете. Пожалуйста...

И появилась в газете не статейка, а что-то вроде частного пожелания. Дескать, наряду с легкой музыкой не худо бы в концерты включать побольше народных и хоровых песен. На работе товарищи хвалили Валентина Пенегина. Соображает. Волокет!.. А он никак не мог объяснить, что хотел совсем по-другому вопрос поставить.

Однако если тогда были только споры и мелкие хлопоты, то на этот раз Валентин чуть пятнадцать суток не схлопотал.

Приехал наконец в город хор. И пел не про черных котов, не про то, как едет кто-то за туманом. Сто душ — как одна душа! Мороз по коже. У хора была и эта песня — про ямщика. Слезы благодарности навернулись у Пенегина, когда ведущий объявил ее.

Умница-дирижер или кто-то еще, кто разрабатывал му-

зыку, такое сделал вступление, что закрой глаза — и все увидишь наяву. Пустынную, заснеженную степь увидишь. Необъятная эта снежная равнина таинственно гудит, будто пустой вселенский колокол, а под ним снуют и свищут, стонут и завывают вьюги, шуршит холодный сыпучий снег, и ночь тяжело нависает, и тоскливо, и одиноко живой душе... И «в той степи глухой... замерзал ямщик»...

Сперва Валентину показалось, что он ослышался. Неужто спели «замерзал»? Неужто и они не понимают?.. Нет, он не ослышался: хор еще раз повторил: «замерзал ямщик». «Замерзал»!

Испортили... Такую песню испортили! Деятели! Им лишь бы музыка, а слова — хоть какие. Да ведь у песни-то два крыла должно быть. Слова — одно крыло, музыка — другое. А у вас одно крыло машет, другое пашет... Да как же так можно! Полон зал народу, и вы врите ему: «замерза-а-ал». Эх, вы! Всю ценность, всю совесть души вынули! И никто не чешется. Да как же так! — один замерзает, а другой рядышком стоит и спокойненько слушает его наказ. Пой, мол, пташечка, пой, замерзай себе... Я-то жив-здоров, без горюшка домой доберусь. Разве можно из благородной человеческой драмы делать такую глупость! И никто не замечает. Будто так и надо. Хлопают...

Как только зал затих и ведущий собрался объявить следующий номер, Валентин вскочил в своем ряду и крикнул:

— Товарищ ведущий! Товарищ ведущий!.. Скажите своим товарищам, что они неправильно в одном месте поют!.. Не «замерзал» надо петь, а «умирал»!..

Зал зашумел, заворочался, загудел, как улей, и ни черта, конечно, ведущий не расслышал. Пенегин крикнул еще и еще раз.

Теперь зал прямо-таки взорвался, будто на огонь керосину плеснули, и Пенегин перестал слышать даже собственный голос.

— ...Чокнутый какой-то!

— Пьяный дурак!

Да это же они о нем, о Пенегине!..

— Чего-о-о?! — взвился он. — Это я-то пьяный! Это вы ничего не различаете. Накушались и спите тут!

А из зала неслось:

— Выгнать к чертовой матери!

— Вывести!

— Сиди и не выступай!..

И все это кричали ему — Валентину Пенегину! Весь зал! — Мне жаль вас! — махнул Валентин рукой и укоризненно покачал головой.

В ту же минуту его похлопали по руке выше локтя. Он подумал, что эта жена, Ирина Павловна, хотел отмахнуться, но руку вдруг сильно сжали и потянули в сторонку. И Пенегин увидел милиционера.

— Чего-о-о?! — опять закричал он. — Да вы хоть понимаете, о чем тут речь?

— Пойдемте, пойдемте... Спокойно... Не будем срывать концерт.

— Срывать концерт? Да я же как раз...

А милиционер — не молодой, не старый старшина — перед самым носом Пенегина, будто заглушкой, подвигал своей широкой ладошкой:

— Пошлите, пошлите...

И Пенегин пошел, конечно. С милицией много не наговоришь. Однако, едва они вышли в фойе, как Пенегин пустился объяснять свое поведение. А старшина все вел и вел его за локоток и ничего не говорил. Потом отпустил его и показал на какую-то боковую дверь.

Тут же, вслед за ними, в комнату заглянул человек из отдела культуры, которого Пенегин помнил по прошлой беседе про «черных котов». Человек этот выслушал Пенегина внимательно, но говорил только прописными истинами и сильно «ерыкал». («Вот и прелекрасно!» — сказал он в тот раз на прощание).

За столом сидел молодой, спортивного вида лейтенант с вузовским ромбиком на груди.

— Что такое, Иван Иванович? — спросил он у старшины.

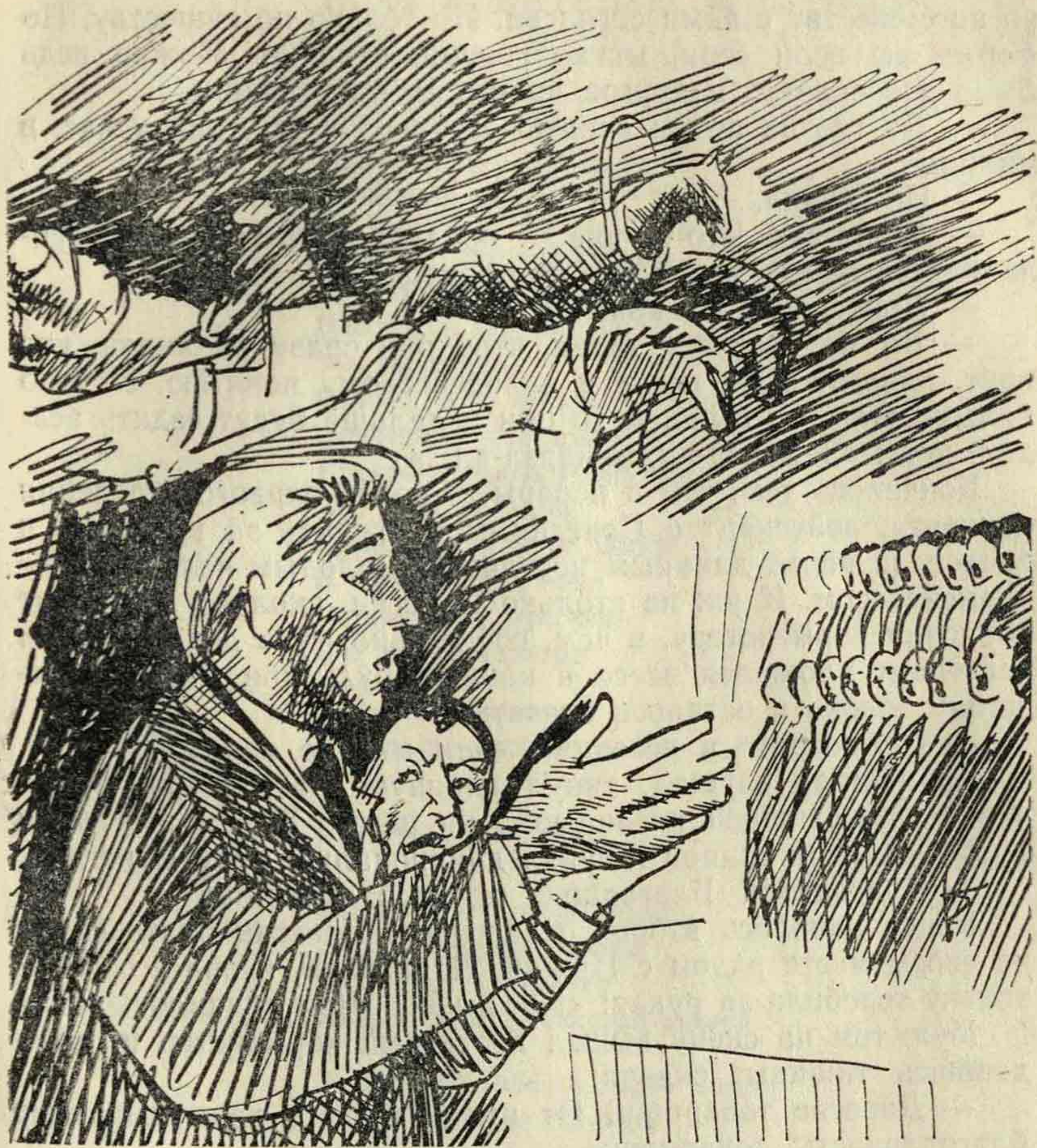
— Да вот, заспорил с артистами. Прямо из зала...

— Да не заспорил я! Я хотел сразу же...

— Минуту. Вы идите, Иван Иванович, смотрите концерт. А мы тут побеседуем. Садитесь. — Лейтенант указал Пенегину на диванчик.

Пенегин вздохнул и пошел к диванчику. А за плохо прикрытой дверью старшина и человек от культуры весело смеялись, и слышно было, как ерыкающий голос, удаляясь, сказал: «Да это же несерьезно!.. Прлосто прлохиндей какой-то...»

— Сам ты прох... — вскинулся было Пенегин, но, увидев предупреждающий жест, замолк и тоскливо уставился на лейтенанта.



— Вы, насколько я понимаю, человек совершенно трезвый, — сказал лейтенант.

— Спасибо. Именно так. Я вообще к этому делу... А чтоб на концерт прийти, — тем более...

— Ладно. Давайте по существу.

И Пенегин, благо лейтенант не торопил, не перебивал его, рассказал ему все. Даже с чего началось, припомнил. С патефона в тот последний, страшный год войны. Узнал лейтенант и о том, что Пенегин уже выполнил пятилетку.

— Да-а, — сказал лейтенант. — Я в искусстве не силен,

но по существу с вами согласен. Но только по существу. По форме вы вели себя, мягко говоря, странно. Можно ведь было все сказать в другое время. Вот как мне.

— Да где их потом искать! Лучше уж так, как у вас, в милиции.

— Не понял...

— А вот так. Что лучше — предупредить новое преступление или ждать, когда оно повторится?

— Предупредить, конечно.

— Во, во! Вот я и хотел, чтоб они сразу же знали, что врут, наносят вред песне и человеческому понятию. И чтоб больше этого не было. А то они и дальше будут ездить везде и петь: «Замерза-ал, замерза-ал...»

Кончилось тем, что в перерыве, после первого отделения концерта, лейтенант с Пенегиным очутились за кулисами и предстали перед длинным костлявым молодым человеком — хормейстером. И уж не столько Пенегин, сколько лейтенант объяснил хормейстеру, в чем, собственно, суть дела. Причем лейтенант уложился всего в каких-нибудь три минуты. Пенегину только и осталось сказать:

— Посмотрите в песенник, если мне не верите...

Хормейстер слушал, тянул длинную шею, щурил глаза и все дружелюбней поглядывал на него. Потом изогнулся всей костлявой спиной и сунул длиннопалую руку Пенегину:

— Благодарю! Благодарю, дорогой товарищ!

Когда началось второе отделение, Пенегин опять сидел на своем месте рядом с Ириной Павловной, и она его потихоньку теребила за рукав: «Ну, и как?.. Чем кончилось-то?..»

Меж тем на сцену вышел костлявый хормейстер и, дождавшись тишины, сказал:

— Дорогие товарищи! От имени нашего хора выражаю благодарность товарищу...

— Пенегину! — подскочил Валентин.

— ...Пенегину за деловое замечание по существу известной вам народной песни. Спасибо!..

Он театрально поклонился всему залу и удалился.

А в зале вдруг захлопали. В том самом зале, который полчаса назад орал и шикал на Пенегина!

— Запомните! — крикнул Пенегин всем, кто был тут, и, усаживаясь, добавил негромко, на выдохе: — «Прлохин-деи...

Началось второе отделение.